

Андрей ГУБИН

Посох пророка

РАССКАЗ

Достоевский проигрывал.

Он хотел поставить на точный, как ему привиделось, номер, но под руку что-то сказали. Он дернул плечом, испугался и переменял игру.

Выиграл номер.

Достоевский в бешенстве отошел к окну, глотнул свежего воздуха. Тут же решительно вернулся и повторил игру.

Нумер выиграл. Он повторил опять на него.

Окаменели десятки глаз при виде такого безумства — третий раз повторять игру! Впрочем, русские в игре нерасчетливы. Выиграл номер.

Перед русским на зеленом сукне шире разлилась золотая лужица. Он вспомнил, как однажды выиграл в рулетку одиннадцать тысяч франков — целое состояние — и пошел ва-банк, чтобы разом забрать все, покрыть прошлые проигрыши, расплатиться по векселям, остаться при своих и навсегда прекратить игру, как обещано жене еще в Баден-Бадене, когда там проигрался в пух и прах. Игра...

Напряженно блестели лбы. Дыхание вокруг прекратилось. Пламя свечей замерло. Сделана...

Костяная позолоченная лопаточка крупье отгребла золотое озерко от русского в сторону однорукого моряка с черной лентой на левом глазу.

В проигравшем сильнее обозначилась студенческая сутулость. На сером, пережженной бронзы лице проступили угольные точки. Желтоватые келейные пальцы скребли шейный платок.

Он начинал признавать справедливость вынесенного ему в молодости смертного приговора, замененного каторгой, о которой позже скажет: «Меня каторга спасла».

Но скажите по чести, господа из-

датели, справедливо ли платить ему за лист сто пятьдесят рублей, а тому же Ивану Тургеневу или Льву Толстому по четыреста и пятьсот, когда они имеют обширные поместья, дающие им возможность работать не спеша, не за кусок хлеба. Он же всю жизнь пишет как на пожаре, как газетный репортер; за считанные дни продиктовал «Игрока» и час в час сдал рукопись полицейскому приставу, поскольку издательство в момент истечения срока было закрыто.

Ему придется сидеть в долговой тюрьме, будучи всемирно известным автором.

Правда, один издатель будет, платить ему по триста рублей — Некрасов, великий поэт, сам небогатый человек. Но лишь у врат вечности обнимутся они с той же любовью, с какой обнялись на заре жизни. А пока воспоминания о Некрасове, как и Тургеневе и Белинском, ему неприятны. Именно Некрасов и Тургенев, блестящие мастера в цехе поэтов, написали отвратительный пасквиль в стихах на Достоевского. Объявив его новой звездой, «великим талантом, что пойдет далее Гоголя», Некрасов и Белинский жестоко издевались потом в салонах и журналах над «гениальностью» автора «Двойника» и «Господина Прохарчина».

Но сейчас, в казино, он ненавидел себя — только бы остановиться на выигрыше, не заглядывать в пропасть.

Сознание вины перед Анной Григорьевной — он проиграл деньги, отложенные на отъезд в Россию,— перед всем миром заставило пойти на унижение: при содействии играющего по маленькой Ивана Гончарова, величайшего писателя, впоследствии главного цензора Российской империи, он обратился с унижительной просьбой — хорошо, что запиской, на расстоянии — к Ивану Тургеневу одолжить сто талеров, чтобы погасить счета в

гостинице и уехать на родину. Сам Гончаров дать не мог — одалживать во время игры не рекомендуется, — а когда игра кончилась, Гончаров был сильно не в духе, подозревая шулерство в казино.

Деньги Тургенев прислал утром, пятьдесят талеров, и Достоевский тут же отослал ему расписку.

Анны Григорьевны дома не было, ушла под предлогом каких-то визитов, хотя он отлично сознавал, что ей стыдно оставаться в гостинице, где задолжали. Чувствуя дрожь и неотвратимость судьбы, Федор Михайлович прошмыгнул мимо слуг гостиницы и, как бедный петербургский чиновник, почти задыхаясь, вбежал в игорный дом.

— Господа, делайте вашу игру! — монотонно повторял крупье.

Автор «Униженных и оскорбленных», «Преступления и наказания» играл осторожно, полагался на расчет — хотя какой расчет у прыгающего шарика — и выигрывал.

Сумма тургеневских талеров удвоилась, потом еще увеличилась. К горлу подошел ком. Играть по маленькой уже не было смысла — да и надо спешить домой. Вот теперь надо сорвать банк и прекратить игру...

— Игра сделана! — крупье отгреб в сторону талеры Достоевского.

И снова петлей захлестнула жуткая российская несправедливость, хотя в данном случае она ни при чем. Катков, издатель «Преступления и наказания», сам, не советуясь с автором, выбросил в корзину главу, ради которой написан роман. В железных тисках безденежья пришлось согласиться с этим, и он попросил вернуть ему вырезанные страницы. Их искали тщетно — мусорщик уже забрал содержимое корзины. Читатели в восторге от романа и не знают, что роман обворован наполовину!

А проза житейская, бытовые дразги! Впоследствии впалые щеки Федора Михайловича проест жгучая плесень стыда за людей даже высшего порядка: знаменитый писатель Иван Тургенев будет требовать с Достоевского не пятьдесят, а сто талеров, кои талеры якобы тот Иван

Тургенев выслал означенному просителю. Слава богу, сохранилась расписка, и дело уладилось.

В будущем на открытие Пушкинского Памятника съедется весь культурный мир собственно слышать, видеть, чувствовать непревзойденный гений Тургенева, а попадет на торжество Достоевского — тут он выиграл, — речь которого затмит все речи, в том числе и Тургенева.

А Лев Николаевич на открытие Памятника не явится, избегая всяческой мирской суеты, и наверное до конца дней будет чувствовать в сердце сквозную рану.

Страшно сказать, они никогда не встретятся, Достоевский и Толстой, хотя были современниками; однажды целый вечер провели в одном доме, но Федор Михайлович этого не знал и сильно горевал после, а граф Толстой уже мало замечал людей, евангелически интересуясь судьбами мужика, надрывно переживая драмы угасающего дворянства, и лишь смерть Достоевского заставит Толстого содрогнуться от невосполнимой потери и пролить слезу горечи, да и то в частном письме. А ведь все они — и Белинский, и Некрасов, и Тургенев, и Толстой, и Достоевский — братья одной великой литературной шеренги.

Поразительно: Достоевскому судьба не только дала лучшую из жен — тут он выиграл, — но и фамилия жены словно выхвачена из его же произведений: не Раевская, не Галицына или Долгорукая, а Сниткина — сословие бедных людей.

Уже отмечено его родство с Западом — готический стиль устремлений, напряженная драматургичность его романов, философская близость к Шекспиру и Сервантесу. Но часто его язычески тянет в Азию, где он пережил злосчастную любовь, где однажды его заковали в кандалы, где в Мертвом доме увидел жизнь, скованную пороком и железом — и нет более светлой книги в его творчестве, чем «Записки из Мертвого дома», хотя это книга о каторге.

Как он рвался с поселения назад, в Россию! В дождливую слякоть Петербурга, центр умственной жизни бескрайней

империи. В Петербурге же стал мечтать о Западе, Европе. А теперь, в Висбадене, в казино, в пылающем мозгу снова — широкая полусонная Азия...

Зеленая степь. Войлочные юрты кочевников. Желто-красная туча стремительно мчится по краю степи — табун полудиких коней. В траве поют птицы. Покой. Могильники. Камыши редких озер. И надо всем этим самое человеческое, самое поэтическое в мифологии божество, которому издревле поклонялись монголы, не знавшие иных богов, — Вечное Синее Небо. Медленно тянутся там ковыльные дни. Люди ищут воду, дышат ароматом новых пастбищ и, съезжая по осени на зимние стоянки, оставляют в побуревшей степи ярко-зеленые круги — следы юрт. Зимой гудит ураганный ветер, метут снега, в юрте жар костра, в котел заложена конина, близко рыскают волки и барсы, случаются грабежи, жизнь не меняется веками, подчиненная желудку.

Сердцу же надобно жить в России. Он человек сердца, и он удивляется, как гениальному замыслу, мысли ехать домой, в Петербург.

Он вздрогнул. Да ведь они уже решили ехать домой, он уже и билеты пошел брать, да по пути свернул в казино...

Прыгал шарик. Звенело на сукне золото, ничье и каждого — где как распорядится слепая фортуна.

...Он умолил старуху в голландских кружевах, с орлиным профилем гальских королей взять у него серебряные часы с цепочкой.

Делая это, он нисколько не рассчитывал на выигрыш. И точно: полученные талеры скользнули в засаленный карман блузы лысого француза с тремя бородавками на багровом лице.

Свечи оплывали, бросая весь свой свет на зеленый стол и монеты. Новые игроки бесцеремонно потеснили русского.

Ему показалось, что в полутьме гардеробной мелькнуло платье Анны Григорьевны. Нет! Он не пойдет в гостиницу. Надо бежать, скрыться, хоть в пучине морской. Это ужасно: быть учителем жизни и проигрывать семейные

деньги! Он не достоин жить с Анной Григорьевной. И не мог уйти из этого казино вдвойне игорного дома, хотя не имел никаких надежд.

Как все творцы, великие или малые, он всегда стремился сказать свое, новое слово. Человек, который скажет новое слово, должен прожить тысячи жизней еще в детстве и молодости.

Тон пророка всегда слышался в его творениях, но глухо, как из подземелья, как гул далекого спасательного морского колокола в бурную ночь. Пора ему стать обнаженным и близким, как труба над ухом.

Его любимой книгой остался «Дон Кихот» — потом он создаст русского Дон Кихота, князя Мышкина, которого, как и испанского идадьго, считали сумасшедшим, идиотом. Он так высоко ставил книгу Сервантеса, что считал возможным показать ее небесам как отчет дел человечества за все времена. Сервантес был для него пророком, возвестившим миру о появлении новой породы людей — рыцарей света, добра, справедливости.

Нет иного смысла в творчестве, чем возвещать народу обо всем лучшем, добром, здоровом в народной жизни.

Как быть пророком в личине писателя, в век науки, техники, практицизма, когда философия уступила место политике, а вера — философии?

Да все так же: библейски страдать и заставлять людей проникаться смыслом страданий.

В человеке, в силу его животной сущности, заложено инстинктивное злое — и отобрать это нельзя, не разрушив человека. Путем страданий человек сумел стать Дон Кихотом — развить в себе доброе. Надо постоянно поддерживать огонь страданий, чтобы выжигать им злое по мере его роста, приближать доброе к его божественной сущности.

Сердце, покрытое жиром наслаждения, может быть добродушным, но и злым. Ни грана жира, ни тени лишнего удовольствия, чтобы идти к доброму. Страдания и жир противоположны.

Ему будут возражать: страдание-де озлобляет, ожесточает, что человек добр по

природе — и этим, последним, впадут в обожествление человека, станут по существу религиозными, подобно Фейербаху с его религией любви.

Он ответит, что ожесточает малое страдание, а высшее, духовное просветляет, ведь очищали же душу древние греки трагедией, катарзисом страданий. Он имел право так сказать, ибо он и никто другой заявил, что не хотел бы заплатить за благоденствие всего человечества и одной слезой ребенка.

Христианин, он, однако, отрицал муравьиную философию народа-травы, постулаты евангелия: смерть и страдания одного ради других. Ибо говорил о страдании, возникающем внутри каждого от несовершенства мира, а не о страдании, причиняемом одними людьми другим — у такого страдания не было более яростного врага, чем он.

Его обвиняли в том, что в своем стремлении глубже проникнуть в природу человека он как бы сам творил злое, дьявольское.

Он действительно показывал человека не внешне, не канонически. Он просвечивал всю кровеносную систему духа, все тончайшие капилляры мысли и чувства. Не его вина, что в такой глубине рядом с добрым таилось и злое.

По каменистым дорогам бытия, по гулким мостовым хмурого города, по кочкам солнечных проселков, в стране солдатчины и барства, Чичиковых и юродивых, гениев и преступников застучит увереннее и громче крепкий и простой, как из ясеня или кедра, посох пророка.

Но когда он уже напишет романы «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» и создаст венец своей мученической жизни «Дневник писателя», то критики все еще будут вспоминать очарование «Бедных людей», не замечая или оплевывая гигантскую готику его новых соборов, прорезавших шпильями бескрайность будущих веков.

И впереди, в готическом тумане, гулкая поступь вечных вопросов бытия, неразрешимая загадка добра и зла, бога и дьявола, прочно засевших в человеке. И

высший творческий закон — пророчества — станет доминирующим.

— Господа, казино делает приборку, антракт два часа!

Он вышел, забыв свою шляпу на вешалке. В темноте его обвили милые руки. В его сознании мелькнули образы мучителя-мужа и кроткой жены. Анна Григорьевна хотела скрыть на лице испуг, растерянность и печаль, старалась держаться дальше от фонарей. Он хотел, чтобы она никогда не простила его и даже думал вернуться в каторгу, но тут Анна Григорьевна заговорила — не о талерах и долгах — о новом прекрасном издании «Посмертных записок Пиквикского клуба», а придя в гостиницу, читала мужу главы романа, полные смеха и горечи. Один рассказ в романе давно буровил Федора Михайловича — точно его Кроткая, или толчок дал Диккенс?

Утром после завтрака Анна Григорьевна предложила мужу прогулку. Он согласился и взял с собой Диккенса. Что касается денег, то ей уже выслали из России.

Проходя мимо игорного дома, Федор Михайлович не почувствовал ни тяги к игре, ни отвращения. Этот мертвый дом был ему неинтересен как чуждый пейзаж. Он удивился бы до крайности, если бы ему предложили играть. Туча пронеслась. Как запой. Как болезнь. Но еще оставалось подавленное состояние духа, досада — не за проигрыш, а за то, что из творца он вновь, в рулетке, превратился в персонажа, скульптор стал глиной.

Накрапывал дождь. Ему почему-то было стыдно, что он забыл в казино шляпу, стыдно перед женой, и не сказав, что идет за шляпой, молча и быстро свернул в казино.

Анна Григорьевна бестрепетно пошла дальше.

Гардероб был заперт. Из зала ему кивнул Гончаров, подзывая к себе.

— У вас легкая рука,— сказал Гончаров.— На какой ставить?

Достоевский, не думая, назвал.

Иван Александрович выиграл.

Достоевский шутя называл все новые номера — Гончаров выигрывал

крупные куши и вдруг, спохватившись, спросил:

— Да вы-то батенька, чего не ставите?

Достоевский побледнел страшно, как перед припадком. Блеск золота, гул в зале, сладостный аромат азарта... Нет, не ради материализма — выиграть схватку, как рыцарь на турнире со смертью... Конечно, нужны и деньги... Унизительно ждать денег родственников жены... Вот... Сейчас... Не может быть... Золотой рекой текла перед ним полоса везения.

Он снял с руки венчальное кольцо.

Досадная помеха — проигрыш. Нужно немедленно ставить снова.

Он выбежал на дорогу, упал на колени перед Анной Григорьевной. Она покорно и просто отдала ему свое золотое кольцо.

Выигрыш...

Еще...

Игроки удвоили ставки.

Банк!

Дрожащей рукой, не дожидаясь крупье, Достоевский сгребал золото к себе.

Играть же по-прежнему не хотел и поставил последний раз — все.

Взял!

Господи, что же это такое, да ведь так можно на всю жизнь отыгратья!

Еще по всем!

— Уходите! — сдавленно прошептал Гончаров. — Это невозможно!

— Игра сделана!

— Остановитесь! Или я вас за рублю! — схватился за кортик итальянский генерал.

— На все! — с пеной на синеющих губах сказал русский, к которому крупье сгреб новые тысячи.

Старуха в кружевах упала в обморок.

Гончаров мелко крестился.

— Делайте ставки, господа! — дрожал в ознобе привыкший ко всему крупье.

Золото звякнуло. Шарик прыгнул...

Он уже знал, что ставка его бита. Знал до того, как шарик остановился. И судорожно снял с пальца женино кольцо. Небрежно бросил на стол. А пятнадцать

пар глаз еще наливались страстью ужаса и сладости, жизни и смерти.

В голове лихорадочно роились какие-то цифры, слова. Ага, теперь он не будет простаком, теперь-то он знает, когда остановиться. Как мучительно долго крупье отгребал от него деньги — и то сказать: целая гряда.

Как у всякого игрока, у него были свой расчет и логика, приметы и предчувствия. Сейчас он до мельчайших подробностей увидел будущую игру и свое место в ней. После спада высокой волны грядет еще более высокий гребень — и в этот миг он как ловкий пловец направит на вершине этого гребня свою ладью прямо к берегу, к Анне Григорьевне.

Он не учел лишь одного — его первая ставка была бита сразу.

Второе кольцо уплыло в засаленный карман француза пекаря или колбасника.

Венчальные кольца! Символ чистоты, верности и вечности в браке двух любящих душ, на краткий миг соединившихся в солнечном луче жизни, чтобы тут же рухнуть во тьму, откуда пришли.

И только на пальце останется след — узкая белая полоска.

Почувствовать проигрыш он не успел. Кто-то подхватил его на руки, кажется, итальянец с кортиком, кто-то держал ноги — начался припадок падучей, которой он страдал всю жизнь.

Очнулся в гостинице. Первое, что вспомнил, мысли о творчестве, о миссии художника, которые приходили к нему в момент игры — может, потому и играл удало, с русской широтой, что главный, нетленный выигрыш уже был при нем.

— Тебе лучше? — радостно спросила Анна Григорьевна.

Он стыдился припадков, не любил о них говорить и вспоминать, поэтому сказал:

— Почитай мне еще рассказ священника у Диккенса...

Она читала. Потом он выпил кофе. Посидел на веранде, любясь панорамой. Попросил бульона и стакан портвейна. После обеда сел к столу. Анна Григорьевна увидела его блестящие глаза, бескровные

губы, но была спокойна — это был другой припадок, творческий. Она вышла и тихо прикрыла дверь.

Как всегда, ему казалось, что раньше никогда не писалось так легко, живо, увлекательно.

Стучит посох пророка — как положено, нищего, гонимого неудачливого, побиваемого камнями судьбы.

Бьется в приступах гениальности Достоевский.

Тут он выигрывал.